

Александр Фомич Вельтман

Радой



Александр Вельтман

Радой

«Public Domain»

1839

Вельтман А. Ф.

Радой / А. Ф. Вельтман — «Public Domain», 1839

В повести Александра Вельтмана «Радой» отражены исторические события. Повествование от автора, участника русско-турецкой войны 1828-1829 годов, сменяется текстом рукописи, написанной молодым офицером. Действие переносится в 1821 год. Пребывание рассказчика во Франции прерывается сценой из жизни средневекового Прованса – соревнованием трубадуров. Далее офицер оказывается свидетелем бурных событий на Балканах, восстания греков под руководством Александра Ипсиланти и валахов во главе с Тудором Владимиреску против османского ига. Там он встречается с Радоем. Последующие события повести происходят в городской и деревенской России. На этом найденная рукопись обрывается, и уже от имени автора идет повествование о судьбе Радоя, нашедшего счастье с Мирославой, и об участии Мемнона и Веры.

© Вельтман А. Ф., 1839

© Public Domain, 1839

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	12
V	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Александр Вельтман

Радой

I

Вскоре после покорения Варны приехал я в эту крепость. Жители, турки, еще не выбирались из нее по условию; они еще, собираясь в дорогу, продавали свое движимое и недвижимое имущество грекам, армянам и русским. На площадке давка, толкучий рынок – дешевизна, соблазн ужасный: турецкие шали, персидские ковры, чубуки жасминные и черешневые в сажень, роскошные янтарные мундштуки, арабские кони, бархатные седла, шитые золотом, пистолеты и ятаганы, одежда восточная и утварь... Как не купить чего-нибудь турецкого на память Варны и не вывезть в Россию? «Что стоит шаль? *Кэтс пара?*» – «*Алтыюз лева*». Шестьсот левов турецкая шаль! Шестьсот левов составят только двадцать червонцев, а у меня их полный карман!.. Давай!.. «Что стоит конь?» – «*Бин лева*». Тысячу левов арабский конь, белый, как снег, шерсть, как атлас, смотрит орлом, крутится вихрем, мчится стрелой! Давай!.. Греческая женская фермеле, на горностае! «*Кэтс пара?*» – «*Юз лева*». Сто левов!.. Давай!..

В день, в два турки увидели, что у нас нет левов, а есть только червонцы и что эти *червенца*, тридцатилевники, для нас дешевле шелухи, выбиваемой на монетном дворе его султанского величества. И вот на другой же день о левах и речи нет. *Кэтс пара?* – *Ики червенца, он червенца, юз червенца*. Ни один разумный *османлы* про левы и слышать не хочет.

С досадой в душе, что не удалось купить прекрасной розовой шали за *бин лева*, потому что ее цена, в честь щедрых победителей, превратилась вдруг в *ики юз червенцы*, я отправился верхом на арабском жеребце, которого удалось мне купить у Тегир-паши на левы.

Насмотревшись вдоволь на Черное море и не заметив в нем ничего черного, я заехал в арсенал, где свалено было оружие всего турецкого гарнизона, защищавшего Варну... Тут были горы сабель, ятаганов, ружей, пистолетов, и можно было ходить по этим горам, как по иглам железного ежа, колоть и резать себе руки и ноги и выбирать что угодно на турецкую голову и на украшение стен над ложем почивающих от трудов героев. Выбрав с десятка ятаганов *Анадоли*, пар пять пистолетов и ружей *Шешене* и *Дели-Орман* да с дюжину сабель *Килич*, подобных новорожденной луне, я отправил свой трофейный арсенал на квартиру и пустил плясать коня вдоль торговой узенькой улицы. Гордо несся конь мой, согнув в крутую дугу выю и кивая головою; пунцовые шелковые кисти рассыпались на все стороны над благополучными знаками лба его. Душа так и радовалась доброте коня!

Остановясь подле лавки, где жгли кафэ, мололи его в прах и сыпали, как муку, в закромы вроде яслей, я велел отвесить себе *бир ока*. *Базаргян* отвесил одно око,¹ вынул из ящика сверток бумаги, оторвал лист, свернул воронкой... Ба, ба, ба! Писано по-русски!.. «Отдай мне это!» Турок покачал головою и сказал «*Шок!*» – «Пожалуйста, отдай!» – «*Иок, иок!*» – «Ну, возьми *пара: кэтс пара?*» – «*Элли червенца!*» – «За сверток оберточной бумаги пятьдесят червонцев! Ах, ты *бирадам* проклятый!» У меня волосы стали дыбом, но любопытство... и можно ли жалеть денег за русскую рукопись, найденную в Варне, в руках *базаргяна*? «Возьми бир червенца». – «*Иок! Элли червенца!*» Что делать! Он, злодей, всю русскую рукопись скорей употребит на обертки, чем уступит хоть одну пару из пятидесяти червонцев. Вздохнув, я отсчитал пятьдесят червонцев, схватил свернутую тетрадь и кафэ, завернутый в отодранный лист, поскакал домой...

¹ старинная мера веса (ок. 400 г.) и жидкости (ок. 1,14 л.).

И вот посреди бывшего гарема с резным потолком и стенами, с решетчатыми окнами раскинулся я на ковре спокойствия, как *Улема* с *китабом* в руках, с чубуком в зубах, и стал читать рукопись без заглавия и без начала.

«Хм, – сказал я сам себе, – что это? Былое это или просто сочинение какого-нибудь русского повествователя, попавшего в плен к туркам со всем व्यюком повестей и романов?»

В продолжение кампании денщик мой часто покушался употребить эту тетрадь без заглавия точно так же, как *базаргян*, но я отстаивал ее и просил убедительно, чтобы он не смел ни сапогов, ни эполетов, ни даже аксельбанта завертывать в листы свертка синей испи-санной бумаги.

– Да что им делается? – повторял он мне всегда с сердцем. – Во что ж я заверну?

– Вот тебе на обертки, – говорил я, бросая ему десть бумаги.

За белую чистую бумагу денщик мой ужасно как был зол на сверток синей бумаги и при укладке вещей во выюченные чемоданы с презрением всегда выкидывал его и нехотя укладывал снова.

«Бедная повесть неизвестного сочинителя! – думал я, возвратясь в Россию. – Отстоит ли тебя судьба от употреблений на обертки, когда ты будешь напечатана?»

«...колени, и другой старался напроказить, чтобы стать на колени подле товарища; в классе и за столом рядом, сочинять стихи: Ура! вакация пришла! – Вместе...

II

Мемнон познакомил меня с отцом, с матерью, и со всею своею роднёю. Когда я увидел в первый раз его двоюродную сестру Елену – прощай, восторженная любовь к наукам! Напрасно повторяли мне, что «науки юношу питают, отраду в старости дают». При Елене я стыдился названия ученика и думал только о военном мундире: какое наслаждение явиться перед ней в колете, гремя саблей и шпорами! Но едва возвращался домой – поэзия обуревала душу, стихи лились потоками... Черные, огненные глаза, темно-русые локоны, коралловые уста, ланиты, перси и зависть к тому праху, который попирает она, и ревность к тому корсету, который так крепко сжимает ее... и

Как звезды по небу, рассыплю по тебе
Милльоны страстных поцелуев!

Соловей не воспевал на столько голосов своей любимицы розы. В то время слово *поэт* много значило в понятиях женщин: поэт был в глазах их воплощенными чувствами пламенной и постоянной любви, бескорыстным жрецом добра. Тогда говорили все друг другу: «Смотрите, смотрите, вот поэт!» – «Неужели?» – разносилось шепотом в толпе, и всё смотрело благоговейно на поэта и думало: это не просто человек, который пишет стихи! И всё ожидало: вот, вот посыплется из уст его рифмы!

Когда Елена узнала от Мемнона, что и я поэт, – «напишите на меня сатиру», – сказала она мне, подавая перо и розовый листок бумаги. Я зарделся зарей, присел, задумался и написал:

Желал бы я на вас сатиру написать,
Но даже выдумать не в силах укоризны:
Я мог бы вас капризною назвать,
Да вы, как ангел, и капризны.

Елена прочитала и взглянула на меня так нежно, так упоительно, что от полноты блаженства сердце как будто всплыло во мне, стеснило, заняло дыхание, и я стоял подле Елены как беспамятный, не слышал, что она говорила мне, не видел, как она отошла от меня.

Эта минута совершенно помutilа во мне все чувства; я ходил, как потерянный, с каким-то убеждением, что Елена любит меня. Я сторожил ее взоры, прислушивался к задумчивости – Елена вздыхала!.. Мне хотелось сказать ей: я вас люблю! Только и думал я, каким бы образом сказать ей эти три слова, но никак не придумал: то неловко, то нельзя, то некстати. Часто я давал себе клятву: «Сегодня ни слова не скажу Елене, кроме «я вас люблю, Елена!» – и всегда изменял клятве досадным вопросом: «Как ваше здоровье?» Начинала ли она говорить со мною – я торопился отвечать: кровь бросалась в лицо, язык немел. Молчала ли Елена – я не смел прервать ее молчания: может быть, она думает в это время обо мне!

Чувства свои, однако ж, заботливо таил я от Мемнона. «Можно ли сказать брату о любви к его сестре?» – думал я и при нем старался быть как можно равнодушнее с Еленой. К счастью, замечая мою рассеянность и задумчивость, он допрашивал меня о причине и говорил только: «Ты, я вижу, рожден поэтом».

В напрасных покушениях сказать Елене «я вас люблю!» прошло несколько месяцев. В одно воскресенье я пробыл почти целый день с Мемноном у дяди его; со вздохом взял уже шляпу, взглянул на Елену грустным взором, шаркнул, неловко повернулся уже к дверям –

вдруг она остановила меня словами: «Вот вам на память моя работа», – и подала мне прекрасный бумажник, на котором была вышита беседка и посреди ее жертвенник с пламенем.

Помню, что я бросился к руке Елены, но что сказал, как вышел из комнаты, приехал ли домой или пришел пешком – ничего не помню.

Горячо расцеловал я подарок Елены, бережно уложил его в шкатулку, запер, снова вынул, еще раз поцеловал, снова спрятал... Мне хотелось сказать кому-нибудь: как я счастлив! – встретить кого-нибудь, кто бы спросил меня: чему ты так радуешься? И я пошел, сам не зная куда, и вдруг мне стало страшно: что, если кто-нибудь украдет шкатулку мою! Бегом пустился я назад, запыхавшись прибежал в свою комнату, бросился к шкатулке, вынул из нее мое сокровище, расцеловал, положил в карман, пошел опять и дорогой почти на каждом шагу ощупывал, тут ли мой бумажник. Поздно уже было, когда я очнулся и заметил, что стою против дома с закрытыми ставнями. «Елена уже спит!» – подумал я и медленно пошел домой. Ложась в постель, я положил подарок Елены в изголовье... задумался о ней... Едва сон начнет оковывать чувства – вдруг мысль: тут ли он?., спугнет сон, и рука тянется под подушку. Так прошла вся ночь, так прошла вся неделя. Нетерпеливо ждал я воскресенья; наконец оно настало, и я отправился к Мемнону, чтоб ехать с ним вместе в дом его дяди.

– Их уже нет в Москве, – сказал Мемнон. – Они уехали в деревню, – продолжал он, не замечая впечатления, которое произвели на меня его слова.

Скрывая внутреннее волнение от Мемнона, я присел к фортепьяно и в первый раз почувствовал, как музыка необходима для сердца, убитого горем; в первый раз стал я фантазировать и высказывать жалобы души звуками. Флегматик Мемнон не понял моих звуков.

– Полно, братец, бренчать, – сказал он. Я вскочил, ушел от него и опомнился над листом бумаги, на котором написано было: *На разлуку*.

Голова моя лежала на левой руке, в правой держал я перо; слезы катились по лицу.

– Да ты, я вижу, поэт! – сказал мне однажды и отец, замечая мою рассеянность и задумчивость. – Жаль! я думал, что из тебя выйдет что-нибудь порядочное...

III

Мысль – скорее прославить себя и явиться достойным любви Елены – преследовала меня. Отец не противился желанию моему служить в военной службе; меня определил в корпус, расположенный в Московской губернии, но я перепросился в Кавказский корпус и полетел на поприще своей славы.

Несколько экспедиций в горы были счастливы для меня. Любовь сильнее честолюбия жаждет офицерского чина; вскоре я получил его. Еще чин поручика, думал я, и мне не стыдно будет сказать Елене: я вас люблю!

Но другой чин не так легко достался мне: я был взят в плен черкесами. Целый год пробыл в неволе у узденя Аллагюко и умер бы в неволе, если бы добрая Мазза, дочь его, не спасла меня. С помощью ее я бежал, но был ранен вдогонку пулею в плечо. К счастью, казачий пост был близок, и меня привезли в Тифлис. Едва вышел я из опасного положения, как встал с постели и мне подвязали руку черным платком. Черный платок как будто оживил меня; гордо взглянул я на себя в зеркало. Если бы видела меня теперь Елена! О, скорее в отпуск для излечения ран! Я боялся, чтобы рана моя не зажила совершенно до приезда в Москву.

Разумеется, получив отпуск, я не медлил ни минуты и, несмотря на совет медика дожидаться весны, поскакал по мартовскому ухабистому пути.

В продолжение трех лет все переменилось, кроме моего сердца. Я мог попасть в плен, но моего сердца не пленила черноокая, пламенная черкешенка: я был тот неблагодарный *кавказский пленник*, который даже не оглянулся на бедную Маззу, когда воздух свободы обвеял его и надежда видеть Елену оживила душу.

По приезде в Москву я застал Мемнона уже хозяином дома, владельцем, помещиком.

– Тебе остается только жениться, – сказал я ему.

– Это одно мое желание, – отвечал он.

– За чем же стало дело? Мало ли в Москве невест! Выбирай любую: ты богат, молод, хорош собою.

– Не выбирать хочу я... встретить ее. Я не верю ни сравнениям, ни испытаниям, сердце и рассудок могут быть обмануты; только одно не обманет: голос души при неожиданной встрече. Душа говорит, душа скажет: вот *она*, вот *та*, для которой создано твое сердце!

– Ты прав, Мемнон! Я испытал уже такой голос души, – вскричал я невольно.

– Не в ущельях ли Кавказа? Не в сакле ли во время плена? Бедный! мне жаль тебя, но, верно, свобода милей взаимной любви черкешенки: ты бежал от твоего счастья...

– О, нет, Мемнон! Мое счастье здесь, может быть, в Москве! – сказал я со вздохом и признался Мемнону, что люблю его сестру, что время не изгладило моей любви к Елене, что моя любовь к ней будет первою и последнею в жизни.

– И ты скрывал свои чувства от друга и брата! – сказал Мемнон с упреком.

– Друг и брат! – повторил я, обнимая его.

Елены не было в Москве, но, по словам Мемнона, она должна была скоро приехать.

В продолжение целого месяца я изнывал от ожидания и от боязни, что должен буду явиться Елене без повязки, без явного признака моих подвигов под стопами Кавказа.

Я жил у Мемнона, и мы по десяти раз в день посылали в дом его дяди узнать: приехали ль?

Нет и нет!

– Приехали! – произнес наконец неожиданно вошедший слуга. Если бы сонному вскрикнули над ухом: пожар! – он не так бы испугался, как испугался я, когда раздалось в дверях слово: приехали!

На другой же день Мемнон отправился с визитом один и вскоре возвратился.

– Я попросил позволения представить своего постояльца, – сказал он мне. – Сестре ужасно как хотелось знать, кто этот постоялец, но я утаил, чтобы удивить и обрадовать ее твоим неожиданным появлением.

Страшна была для меня минута готовности ехать; я медлил – Мемнон торопил меня.

Можно быть лучше всех, но если бы кто-нибудь сказал мне, что можно быть лучше самой себя, то я бы смеялся над тем. Красота четырнадцатилетней Елены врезалась в моей памяти. Я так привык в продолжение трех лет любить ее и верить, что ничего не может быть совершеннее ее, и вдруг я должен был разочароваться, изменить ей для Елены восемнадцатилетней.

– Вы ранены! – вскричала она, узнав меня и взглянув на подвязанную руку.

– И как опасно ранен! – заметил Мемнон, улыбаясь.

Участие Елены и встреча были так обольстительны! Внимательно расспрашивала она меня обо всем, что случилось со мною после отъезда из Москвы.

– Сохранили ли вы мою память? – спросила она между прочим.

Можно ли было не ласкать себя надеждой и не торопиться дать отдых сердцу в сладкой задумчивости?.. Для первого шага к счастью слишком было довольно. Я хотел унести с собою всю полноту впечатления, встал, раскланялся, взглянул на Мемнона, но он с улыбкой дал мне знак, что останется. Я понял этот знак, и сладостное чувство, наполнявшее меня, вдруг исчезло: оно заменилось страхом. Я бросил на Мемнона умоляющий взор, чтобы он помедлил решать мою судьбу, но Мемнон не понял меня; я уехал. Как мученик собственных чувств ждал я возвращения Мемнона. Когда он вошел, я вскочил с дивана из тучи дыму, которым обдавал себя, не замечая того, взглянул, и – сердце замерло.

– Говори, Мемнон, убей меня! – вскричал я, схватив его за обе руки. – Говори! – повторил я с отчаянием, заметив, что он медлит, обдумывая, что ему сказать.

– Успеха еще нет, но надежда не потеряна, – отвечал он, обнимая меня. – Я говорил с теткой своей: ты ей нравишься, она желала бы...

– О, довольно! Не продолжай!.. Я понимаю: Елена не любит меня!

– Напротив, – сказал Мемнон сурово, – если бы это зависело только от Елены...

– Правду ли ты говоришь, Мемнон?

– Дядя всему преграда. Он, не заботясь ни о согласии жены, ни о сердце дочери, выбрал зятя по своему вкусу и нраву.

Если бы можно было высказать, какая ненависть вдруг вспыхнула во мне к неизвестному суженому Елены...

– Кто он такой? Говори! – вскричал я исступленным голосом. Но Мемнон скрыл от меня его имя.

– Мне не сказали, кто он такой, – отвечал он, – но тетка уверена, что это все переделается. Скоро они едут обратно в деревню, и я с ними... Не теряй надежды!

Его слова только увеличили мою безнадежность. «Нет, – думал я, – Мемнон щадит мое самолюбие; меня отвергли, мне отказали в руке Елены! Я не могу уже показаться в доме!» Напрасно Мемнон обнадеживал меня: я молчал на все его слова, и какой-то внутренний ропот на судьбу мучил меня; я изнемогал. Боль сердца отозвалась в ране. Доктор советовал мне ехать на воды за границу. Мемнон то же советовал мне, и я решился ехать. Друг не щадил обольщений сердца, чтобы успокоить меня.

– Сестра кланяется тебе, – говорил он, прощаясь со мной. – Она не могла скрыть грусти своей, как я заметил. Она желает скорого твоего возвращения, а мать ее поручила сказать тебе, чтобы ты не терял надежды, если любишь Елену.

«Не слова ли это, внушающие опасную надежду? Не значит ли это: кинься в пучину – может быть, счастье выбросит тебя на берег рая?» – думал я, смотря пристально в глаза Мемнону.

IV

Мемнон уехал, и я отправился, оживленный несколько обнадеживаниями друга и уверенностью, что я любим. Мемнон обещал уведомлять меня об Елене.

Не описываю моих путевых впечатлений: мои впечатления были нераздельны с Еленой. В Дрезденской галерее, смотря на Роксану Рафаэля, я сравнивал ее с красотой Елены и видел все недостатки дочери Ирода.

Но чтобы вполне блаженствовать в мечтаниях любви, надобно ехать по Рейну, надобно видеть истоки его. В таинственных недрах зарождаются они, как взаимные чувства юноши и девы, торопятся, ропщут на все препятствия, пробиваются сквозь них и падают в объятия друг друга, чтобы течь вместе, неразлучно посреди роскошных и диких берегов жизни.

Смотря на отдаленные вершины Альпов, вспомнил я Горную дорогу нашего златоуста поэта:

Четыре потока оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе, родясь, расстаются,
Бегут без возврата и ввек не сольются.

— И ввек не сольются! — долго повторял я. Непрístupные скалы, окруженные садами и увенчанные развалинами древних рыцарских замков, как лики Дианы Ефесской, отвлекали душу мою от одной печальной мысли к другой. Теперь и прежде! *Теперь* тело развязно, свободно, а дух в оковах; *прежде* — тело было оковано в латы, а дух был свободен; легко дышалось на неприступных верхах гор и скал, над волнами, над пропастями, посреди лесов и виноградников, за гранитными бойницами, за подъемными мостами, под сводами великолепных добровольных темниц, посреди таинственности и чудес предрассудка, неразлучно с мечом, вином, любовью и неутолимую жаждою к славе. *Минстрель* пел *сирвентес-римот*:

Кто мне внушит благозвучную песнь,
Кто воскресит, оживит мою память
И свиток прошедшего в ней разовьет?
Кто расцветит мои мрачные мысли
И дивные звуки из струн воззовет,
Как голос от сна восстающей природы?
Ах! есть на земле, есть одно существо!
Его светлый взор, как небесное солнце,
Туманы и мрак с отдаленья сорвет
И свиток времен предо мной разовьет!

На берегу быстрого Неккара, впадающего в Рейн, посреди садов, мне слышалась эта песнь минстреля.² Я смотрел на заросшую дорогу, которая извивалась к величественным стенам замка... и забывался...

Вот... рыцари стекаются со всех сторон... знамена их плещут в воздухе; оруженосцы отягчены щитами, раскрашенными девизами чести, любви и славы; на оружие сыплются

² менестрель.

лучи солнца, дробятся радужными цветами... Кривой рог зазвучал... На востовой башне с развевающимся флагом в облаках приветливо отвечают гостям теми же звуками; цепи подъемного моста загремели, кольца железных ворот брякнули, скрипнули засовы и верей... Герольды повешают приезжих... Гордые кони стучат тяжкими копытами по дубовому помосту... Пажи сбегают с крыльца встречать гостей...

На просторном дворе устроены павильоны вокруг поприща; драгоценные восточные ковры свесились через перилы... Судейская ложа украшена оружием, гербами, девизами, и знамена плещут над нею...

Судьи-джюджедуры заняли места. Серебряные власы их рассыпаются по пурпурным мантиям юношескими кудрями... Речи старцев звучны, как кованое оружие во время боя, важны, как голос вопрошаемого оракула...

И вот... *она*... божество, венчающее победу... появилась, как солнце посреди алмазных, изумрудных, яхонтовых лучей... Трубы грянули, герольды засуетились, рядят чин всему, оглашают законы поединков: «Любовь красоте, слава мужеству, хвала победителям! Настал час храбрых; оружие их омоется потом и кровью!»

Герольд умолк, подал знак; раздался хор минстрелей, сопровождаемый цитрами, бандурами и кастаньетами югларов:

Рыцари! вскиньте взоры на ограду,
Где восседает джюджедуров ряд,
Где дамы сердца мужеству в награду
Бантами чести грудь приосенят!
В ком изнеможет в бою дух врожденный,
Сердце остынет, сила изменит,
Взгляд животворный девы несравненной
Душу пробудит, сердце воскресит!
Новый звук труб. Начинается поле.

Ряды рыцарей в роскошных бронях, сопровождаемые щитоносцами, приближаются к рогатке на конях, покрытых латами; едут медленно, с важностью; забрали опущены. Подле них, на парадных конях, едут дамы сердца; они ведут горделивых своих невольников на цепочках, свитых из лент и цветов. Проехав барьер, они развязывают оковы кавалерам сердец своих и потом продолжают путь к помостам, разбрасывая по поприщу цветы, шарфы, узлы из лент, браслеты, сплетенные из собственных их волос, перья с головы... Рыцари подбирают дары с земли, осыпают их поцелуями и готовятся заслужить оружием звания рыцаря сердца, шарф и девиз своей дамы.

Рыцари становятся строем на двух оконечностях поприща, ждут сигнала, прислушиваются к словам джюджедура, который повторяет закон турнира: «Рыцари! да не поранит никто из вас коня противника своего; мета копьём – лицо и грудь; меч рубит, но не колет. Поднятому или разбитому забралу – пощада!»

Джюджедур ударил три раза в ладоши; сигнал к общему бою раздался. Пришпоренные кони ринулись с мест, земля дрогнула; два строя всадников, приклонив голову, уставив копыта вперед, налетели друг на друга... Казалось, что посреди поприща разразилась громовая туча, рассыпалась искрами и треском; взвилась пыль... Две противные стороны то столкнутся, то расступятся. Но общий бой прерван сигналом – строи разъезжаются. Теперь один на один – по вызову. Вскипела во мне жажда победы... Я пришпорил коня, перелетел через ограду... Кто на меня? Вызываю! Нет создания в природе лучше Елены! Пой, минстрель! славь Елену!

Минстрель запел лей Елене, вместо вызова:

Кто в истомлении, в восторге сердца,
Елены не выдав, осмелится промолвить,
Что видел божество любви и красоты,
Кисть хмеля принял тот за грозд пурпурный
И хладную луну за пламенное солнце.
Слепец! я исцелю тебя от слепоты!

Неизвестный рыцарь, в черной броне, без гербов, без шарфа дамы сердца и девиза, выехал на средину поприща... Это противник, соперник мой – суженый Елены!

Злобно взглянул он на меня, я на него; разъехались, повернули – сигнал подан... Вот он! Брызнули искры из стальной брони... А! вон он! Подо мной суженый Елены! Моли о пощаде!..

«Коня убил! Преступник закона!» – раздалось вокруг... Стрелы со всех сторон готовы были поразить меня, но знамя пощады распростерлось надо мною, и герольд повестил, что конь противника моего убит по неосторожности.

Меня ведут к венчающей победу... это Елена!.. Я преклонил колено... Громкий хор запел славу, а Елена увенчала меня... подала руку, и мы пошли, сопровождаемые хором, джюджедурами и рыцарями. В пространной зале сели мы за круглый стол. Передо мной поставили жареного павлина, которого, по обычаю, победитель должен был распластать на сто частей; потом поднесли огромный бокал векового Гейдельберга. Я поднял бокал... «За здоровье Елены!» – хотел сказать я... Где ж она? Нет ее? О, на сто частей разорвалось мое сердце, когда я взглянул вокруг себя... Мрачный замок Гейдельберг, разгромленный самим небом, воздымался на горе, как на острове, посреди моря тумана. По чешуйчатому небу разливался свет луны. Я лежал под деревом на берегу Неккара, смоченный холодной росой ночи...

V

Я приехал в Эмс, начал курс лечения. Вдруг письмо... Рука Мемнона! И только две строчки – только, но сколько блаженства почерпнул я в них! Как, они были красноречивы! как исполнены дружбы! «Приезжай, – писал он, – Елена будет твоею; все препятствия устранены».

Можно представить себе, с каким нетерпением желал я лететь в Россию, но, предполагая ехать обратно, по обещанию брату, через Бессарабию, где он в то время находился, я не мог переменить намерения и, сверх того, я хотел видеть Дунай и взглянуть на Букарест, где был с отцом своим во время войны в 1810 году. Кажется, сама судьба влекла меня по этому пути, чтобы развязать повесть моей жизни.

Из Эмса приехал я в Вену, потом в Буду и оттуда на небольшом купеческом судне, отправлявшемся в Галац, решился пуститься по Дунаю.

Нисколько не заботясь о современных политических обстоятельствах, я совершенно не знал, что делается на берегах Дуная. Я думал только об Елене. Наслаждаясь природой, слушал по вечерам заунывную песню матроса и, проехав таким образом до Галаца, я был бы принужден сделать около четырехсот верст лишних, чтобы попасть в Букарест. К счастью, хозяин корабля спросил меня, куда я еду, и сказал, что я могу выйти на берег при Журжинской переправе и проехать в Букарест прямым путем. Это был подарок для рассеянного. На лодке переехал я в Слободзею и там, наняв *почту*, отправился в столицу Валахии. Никто не спрашивал меня, кто я, откуда, куда еду и есть ли у меня какой-нибудь вид.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.